



УДК 82.091

Московская Д.С.

О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И КРАЕВЕДЕНИИ В ЭПОХУ КУЛЬТУРНИЧЕСТВА И БОРЬБЫ ЗА НОВЫЙ БЫТ

Аннотация. В статье рассматривается поворотный момент русской пореволюционной истории, когда классовая борьба переходит в область идеологии, когда власть стремится физически уничтожить историческую память, воплощенную в традиционном районировании, местной топонимике, архитектуре. В статье прослеживаются совпадения тематики и проблематики краеведческих исследований того времени и литературных сюжетов и образов А. Платонова, С. Есенина, К. Вагинова, Б. Пильняка и др. В статье показано, что содержание краеведческой работы 1920-х гг., краеведческое мирозерцание, краеведческие ценности проясняют идейную направленность творчества писателей-современников.

Ключевые слова: хронотоп, культурный ландшафт, культурная революция, традиционная культура, история отечественного краеведения, история России XX века.

I. О художественной местнографии 1920-х гг.

Раскроем наугад томик платоновской прозы двадцатых годов: «Наше село Рогачевка <...> расположение имеет вкось по реке Тамлыку, что втекает в другую речку Усмань. По преданию говорят, что Тамлык, иначе сказать Тимурлык, по-татарски – значит маленький сын Тимура. А Тимур, как исторически известно, был предводитель татар, кои в старые времена здесь скакали по степям и пользовались их сладкими травами для своих коней. А Усмань у татар – значит красавица. И вот будто бы Тимур влюбился раз в степную красавицу гречанского рода <...> И до сей поры у нас есть два жутких холма – один побольше, другой поменьше. Уже давно стерлась тоска в сердце Тимура, а курганы все стоят, и их не стерли ни ветер, ни вода. Вот что значит сердце человека» (А.Платонов. «Рассказ о потухшей лампе Ильича», 1926 г.) [1].

Так, с природно-географического ландшафта Воронежской губернии и его исторической топонимики начинает Андрей Платонов свой рассказ о реальных событиях, происшедших на строительстве электростанции в селе Рогачевка. Этногенезом родных писателю воронежских степей открывается его эпическая повесть 1927 года «Эфирный тракт». Образ провинциального купеческого, хлебного Воронежа предстает в автобиографической повести Бориса Эйхенбаума «Мой современник» (1929). Портрет нэпманского Брянска задан не только экспозициями, но всей фабулой рассказов Леонида Добычина. Провинциальная ведута с обновленной революцией городской номенклатурой останавливает его внимание: «Шевеля на ходу плечами, высоко подняв голову, с победоносной улыбкой на лиловом от пудры лице, Лиз Курицына свернула из улицы Германской революции в улицу Третьего интернационала. (Л.Добычин. «Встречи с Лиз», 1925) [2]. «Электричество горело в трех паникадилах. Сорок восемь советских служащих пели на клиросе. <...> Над школой Карла Либкнехта и Розы Люксембург стояла маленькая зеленоватая луна» (Л.Добычин. «Козлова», 1923) [3].

Журналистско-этнографическое описание башмачной страны Михаил Пришвин открывает экскурсом в историческую этимологию ее названия «Талдом»: «вернее всего, слово татарское и значит стоянка».

Бывшая северная столица в её измененном революцией облике, но с неизменным историческим преданием и предопределением, – главная тема городских офортов, запечатленных «Столбцами» Николая Заболоцкого:

И грянул на весь оглушительный зал:
– Покойник из царского дома бежал!
Покойник по улицам гордо идет,
его постояльцы ведут под уздцы;
< ...>
Он – в медных очках, перепончатых рамах,
Переполнен до горла подземной водой...
(Н.Заболоцкий. «Офорт», 1927 г.) [4].

С появления в Яицком городке беглого казака начинается есенинский «Пугачев». Вступительное слово «самозванца», которым начинается поэма-драма, заменяет экспозицию. В ней задан ландшафт опорного пункта колонизаторской деятельности Российской империи с характерными приметам этой, расположенной на границе Европы и Азии, исконной казахской территории. Введенные автором в краткий монолог Пугачева «стонущий Яик» и «разбойный Чаган», цвета и запахи «страны неизвестной»: «степей медь, пропахшая солью почва, дорога, ведущая в жуткое пространство» [5], живописуют лик земли, где вскоре запылает пожар интернациональной народной войны.

Певец Петербурга Константин Вагинов не разделим в своем творчестве с этим городом. Пальмира Севера является в зачинах и лирических отступлениях его «ленинградской трилогии» и как герой, и как автор – подлинный творец ее сюжетов: «Петербург окрашен для меня с некоторых пор в зеленоватый цвет, мерцающий и мигающий, цвет ужасный, фосфорический. И на домах, и на лицах, и в душах дрожит зеленоватый огонек, ехидный и подхихикивающий. <...> Зайдешь в магазин – бывший генерал за прилавком стоит и заученно улыбается, войдешь в музей – водитель знает, что лжет, и лгать продолжает. Не люблю я Петербурга, кончилась мечта моя. <...> Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград; но Ленинград нас не касается – автор по профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер» (К.Вагинов. «Козлиная песнь», 1927) [6].

Хронотопические экспозиции с ландшафтными зарисовками, топографические характеристики, этнографические очерки, антропологические и исторические экскурсы в прошлое края – характерная черта прозы Б.Пильняка, Вс.Иванова, М.Булгакова, Л.Леонова 1920-х гг., и примеры можно было бы умножить. Современный читатель, скорее всего, не придаст им особого значения. Вероятно, они будут восприняты как художественный прием: фабульный фон, *couleur local*, и заданная в них тема всеобъемлющей «власти земли» над «большой историей» и судьбами земляков останутся незамеченными и непонятыми. Не будет оценена роль этих краеведческих, местнографических зарисовок в замысле произведения, их способность стать ключом к авторскому мирозерцанию. Впрочем, по замечанию М.М.Бахтина, полнота заключенных в хронотопической образности социальных ценностей и смыслов может быть доступна лишь в абстрактном анализе, и потому выявится лишь в свете социально заостренного, реального комментария. По меткому замечанию Г.О.Винокура, «реальное в поэзии преображается, но ведь и самого преображения не было бы, если бы не было того, что преображается», – писал Г.О.Винокур в 1927 году [7]. А это означает, что предметом реального комментария как особой области филологического знания является весь вообще круг явлений исторического бытия. Заметные различия в выборе предмета комментирования и результаты комментирования говорят о свободе выбора подходов к изучению истории текста, которая сформировалась в отечественном литературоведении в последние годы; свидетельствуют они и об избранном ученым источниковедческом подходе – его представлении о том, что послужило толчком к созданию данного произведения. Впрочем, столь же пестрой была картина и в двадцатые годы прошлого столетия. В большинстве случаев обращение литературоведов двадцатых годов к художественному пейзажу, архитектурно-ландшафтным зарисовкам, воссозданному писателем монументальному облику города и проч. не имело специальной задачи и не рассматривалось как особый предмет науки о литературе. Станным образом в те трагические для страны годы отечественное литературоведение погрузилось в научную рефлексию, и его суждения о генезисе хронотопа, как правило, были продолжением или «отработкой» собственных разнообразных научных подходов к проблемам литературной истории.

Так, переизданная в 1922 году предреволюционная работа М.О.Гершензона «Грибоедовская Москва» развивала выработанную им концепцию личностного преломления в душе художника

распространенных в обществе идей. И потому Москва Грибоедова в его исследовании представляла не в открывшихся писателю особенностях топографии или монументального облика города, но в характеристике московского общества как того «материала», из которого создана великая комедия. В книге уроженца Царского села, сотрудника Царскосельской художественно-исторической комиссии и Русского музея Эриха Голлербаха «Город муз» (1927) этот дворец-пригород Петербурга предстает культурно-эстетическим фоном и явлением особой духовно-культурной природы – «музой», что вдохновляла творчество русских поэтов от Ломоносова до Ахматовой.

Вопрос о хронологической образности, как правило, возникал в связи с общей проблемой определения историко-литературных тем, образов и сюжетов. Научную полемику в 1925 году вызвал вопрос о прототипе Николая Ставрогина из романа Достоевского «Бесы». В спор с Л.П.Гроссманом вступил марксистский критик Вяч.Полонский. Гроссман считал моментом «рождения» Ставрогина конкретный день и место: речь Михаила Бакунина перед шеститысячной аудиторией в Женевском Дворце Лиги Мира и Свободы. Потрясение от увиденного и услышанного тогда, по его мнению, отразилось в созданном Достоевским образе человека, которому «легко детей хоть в нужник нести».

Вяч.Полонский не принял «биографического» подхода Гроссмана, считая подобные сближения основанными на совпадениях, создающих недостоверную «литературоведческую легенду» и ведущих к научному «импрессионизму». В собственных исследованиях он отвергал первичную роль «потрясения», «осенения» или «вдохновения», выступив ниспровергателем всякого рода «легенд». Марксистский диалектический метод требовал, по его мнению, учета как «сознательного», так и «подсознательного» фактора человеческого разума для поиска главной действующей на художника силы. Ею являются классовые противоречия общества и социальная психология писателя. Поэтому не реальные прототипы, а типовые черты этой социальной, классовой психологии он видел источником образности Достоевского, и этот подход вел его к выводу: Ставрогин – всего лишь «характернейший персонаж Достоевского, излюбленный и постоянный герой его романов, раскаявшийся нигилист, прошедший через неверие в бога, через преступления и падения» [8]. Поэтому реальный хронотоп – речь русского нигилиста в Женевском Дворце Лиги Труда и Свободы – никак не повлиял на рождение образа русского «беса» Ставрогина. Вывод Полонского: никакой связи Бакунин со Ставрогиным не имел.

С марксистской социологией в подходе к проблеме отношения художественного вымысла и его реального первоисточника оказались, в некотором роде, солидарны ленинградские формалисты. Встреча в 1927 году формалистов и литературоведов-марксистов на страницах журнала «На литературном посту» была закономерным явлением. С позиции формальной школы, в условиях усилившейся критики ее методов, выступление на страницах одиозного издания ее видного теоретика было возможностью подтвердить верность своим научным установкам. Для

напостовцев – попыткой оценить переживаемую этой школой под воздействием критики эволюцию.

Формалисты ставили себе в заслугу освобождение отечественного литературоведения от наследия дореволюционной науки: обслуживания истории культуры, философии, психологии. В новых условиях, в условиях культурной революции, усиления идеологической классовой борьбы, они были готовы продолжить научную полемику с теми, кто хотел навязать этой науке роль прикладной публицистики. Вовлечение внелитературных рядов в науку о литературе, с их точки зрения, не могло прояснять генезиса литературной формы: оно объясняло литературную эволюцию. Понятие «историко-литературного факта» не допускало прямолинейной переброски каузального мостика от авторской биографии, психологии, переживаний, среды к произведениям. Художественная местнография, в которой для биографического метода естественно было искать реальный биографический, психологический компонент, определялась формалистами в служебной роли «спайки или торможения», или системной доминанты, когда фабула – только повод к разворачиванию «статических описаний». В этом случае городской пейзаж или деревенский ландшафт оказывался конструктивным элементом, нужным для развития или переосмысления литературной традиции. И не подлинные дома Петербурга следовало историку литературы искать в романах Достоевского, но делать предметом реального комментария их «легенду» [9], культивировавшуюся в предании о «таинственных городах» мира, которая является подлинным «литературным фактом».

Точкой соприкосновения формалистов с марксистской критикой было отрицание роли авторской психологии, биографии, переживания в производстве «литературного факта». Основой суждений марксистской критики была номотетическая матрица классовой типологии, на которой ее представители основывали анализ поэтики и мировоззрения художника. Для формалистов литература была специфическим явлением, не порожденным фактами других рядов и к ним не сводимым. В обеих школах значение переживания художником реальной социальной истории как важнейшего для художественного творчества фактора отрицалось. В равной степени обе школы исключали отношение к переживанию как форме существования самой реальной действительности – как самой жизни в форме писательской биографии [10].

В целом, обращение к хронологической образности литературоведов первой четверти XX века было эпизодическим: традиции ее изучения еще не сформировалось. Отдельные работы лишь закладывали ее будущие темы и направления. Среди подобных работ – предреволюционные исследования участников пушкинского семинария С.А.Венгерова, посвященные «петербургской повести» Пушкина «Медный всадник», в первую очередь, доклад Б.М.Энгельгардта «Историзм Пушкина» (1913). В нем отмечалось своеобразие главного героя поэмы. Им оказался не реальный человек, а памятник. Тем самым автор освободил себя от предвзятости суждения и тенденциозности: герой поэмы – «кумир на бронзовом коне» – а priori содержал в себе некую отвлеченность и символичность. Какой, из множества исторических обличий, «лик» Петра I

воплощен в монументе, и какой из них узнан и художественно осмыслен петербуржцем Пушкиным? По мысли Энгельгардта, это лик решителя русской истории, лик зачатого Петром «петербургского периода» русской истории. Так хронотопическая образность «петербургской повести» вела исследователя к местной истории закладки и строительства Санкт-Петербурга, и толковалась им как «сублимация» сложнейшей национально-исторической проблематики.

Дискуссия, вызванная докладом Энгельгардта, перешагнула рубеж социалистической революции и продолжилась на пушкинском вечере 1921 года в Петроградском Доме литераторов. При всем разнообразии высказанных мнений – неизменным оставался исходный тезис Энгельгардта: всеми было признано, что в «вибрациях меди» фальконетовского Всадника, уловленных пушкинской поэмой, угадывается ход отечественной истории. Эти звоны отозвались эхом природной катастрофы в «петербургской повести» Пушкина, потребовав направить поиски литературоведов к источникам ее сюжета в исторических событиях.

Приведенные историко-литературные комментарии говорят о многообразии «систем координат», которыми руководствуются ученые в поисках источников художественного хронотопа и определении его рационально-ценностного содержания.

II. К вопросу о «местном колорите»

К тому, что в литературоведении принято называть «местным колоритом», «художественным пейзажем», «образом местности», в 1920-е гг. было приковано внимание не только писателей и поэтов. Целостное изучение российских земель имело к XX веку более чем вековую традицию. Начало ему было положено колонизаторской деятельностью центра, для успеха которой следовало разобраться в малой истории края и оценить его производительные силы. Первыми исследователями новых областей стали военачальники, епископы, губернаторы, градоначальники, ученые мужи из Вольного экономического общества, поместные дворяне и духовенство – епископы и приходские священники. Примером тому может служить изучение родной Платонову Воронежской губернии, к началу XX века среди областей России наиболее описанной в историческом, культурном и экономическом отношении. С воспоминаний о первом исследователе промышленно осваиваемой области, голландском адмирале Корнелии Ивановиче Крюйсе, служившем у Петра I по кораблестроительному делу на Дону, в городе Павловске, начинает Платонов рассказ о потомке легендарного адмирала и его житье в эпоху культурничества и борьбы за новый быт. Периодические журналы Центрального бюро краеведения первой половины двадцатых годов XX века напоминали читателям об исследовательской деятельности губернатора Г.Р.Державина, начавшего издавать в Тамбове краеведческие «Тамбовские известия» и составившего описание местностей и населения Казанской губернии, и чиновника-краеведа П.И.Мельникова-Печерского. Назначенный губернатором Урусовым консультантом по «краеведческим вопросам», Мельников изучал сотные грамоты, писцовые книги, воеводские описи, ездил по губернии, собирал сведения о местном

быте, ставшие реальным источником его художественных произведений, а его друг В.И.Даль в этих поездках с ним собирал слова живого великорусского языка.

Так развивались научные исследования во всех землях России. Руководство краеведной наукой взяли на себя Академия наук и Вольное экономическое общество. Сведения, собранные ими по анкете «Экономические вопросы, касающиеся до земледелия по разности провинции», были чрезвычайно полны и точны. Кроме того, они сумели отразить самое существо местного трудового и бытового уклада, верований, обычного права населения. Например, Слободской губернии Малороссии: «Сапожники празднуют день св. мучеников Козьмы и Дамиана, а женщины особенно Власия и обеих Параскев, и при том в пятницу каждой недели, в который никогда не прядут, а в десятую после Пасхи никто ничего не работает. <...> Веселости у них такие, как и в других сторонах, обыкновенно бывают в осеннее время, но с тем отличием, что они продолжают почти целую зиму. <...> На заработки в посторонние места почти никто никогда не уходит, разве когда случится неурожай хлеба. В пище и питии гнусности не терпят <...>» [11].

Быт народный проявлял удивительный консерватизм. Указанные черты оказались чрезвычайно устойчивыми и сохранили свою неизменность на территории близкой к Слободской Воронежской губернии до двадцатых годов XX века, были подмечены зорким «краеведческим» взглядом беллетриста и воссозданы в «бытовом» рассказе 1925 года «Демьян Фомич – мастер кожаного ходового устройства» Андрея Платонова, составив реальный пласт этого художественного текста.

Точность и конкретность воспроизведения реального хронотопа делала методы художественного исследования писателя-беллетриста и научного подхода социального историка (или этнографа) чрезвычайно близкими. Авторы анкеты еще в конце XVIII века руководствовались «золотым правилом» полевых этнографических исследований, сформулированным спустя две сотни лет: для данных культуры необходимо точное обозначение времени и места. «Этнография вообще не знает общих записей. Каждая запись должна быть индивидуальна и датирована. Нельзя, например, записывать так: “Рыбаки передают Главрыба свой улов по пуду рыбы за пуд муки”. А надо записывать так: “В таком-то селении рыбак Иван Иванов Петров 15 марта 1924 года продал отделению Главрыбы столько-то пудов семги, обменяв ее на такое-то количество муки, сахару и пряжи. Продажа была меновая <...>. В таком-то селе крестьянка Агафья Ильинична Пальмова рассказывала мне, что с 1919 года она принесла с чердака полусломанные части ткацкого станка и по указаниям своей бабушки такой-то занялась тканьем. Ткала редину на мужскую одежду, пестрядь на женскую, полотно на рубашки”» [12].

Отношения властного центра и провинции в России не были бескорыстными: в основе их лежал потребительский интерес Москвы к природным богатствам и человеческому ресурсу осваиваемых местностей. По мнению историка-краеведа 1920-х гг. С.А.Архангельского, запросы бюрократии, с одной стороны, и интерес к народному быту, к прошлому, с другой, породили особенности краеведческой идеи в общественном сознании первой половины девятнадцатого столетия.

Изучение местностей во второй его половине приобретает новые черты, обусловленные переходом страны к промышленному капитализму, поиском экономически свободного труда, интенсивным общественным обсуждением крестьянского вопроса. После отмены крепостного права, когда прежняя жизнь была раз и навсегда надломлена, масса крестьянства сдвинулась со своей прежней колеи, потеряв навсегда связь с землей и ее обычаями, люмпенизировалась, стала свободной рабочей силой растущему городскому капиталу. В эти годы краеведение утратило интерес к «местному колориту» и ушло в практические хлопоты по изучению, устройству, улучшению быта освобожденных крестьян. Провинция, а не центр, по мнению некоторых шестидесятников, должна была взять на себя полезную народу деятельность. Социальная несправедливость и обида огромной части населения заявила о себе властному центру в идеологии областничества и народности. В литературе реальный – природно-географический, политэкономический, исторический, местный правовой – источник социальной неустойчивости исследовали в художественных произведениях П.И.Мельников-Печерский, Н.С.Лесков, исторических трудах – Д.Л.Мордовцев, в публицистике К.Н.Бестужев-Рюмин, Н.М.Ядринцев, Г.В.Потанин, А.С.Гацисский и др.

Ни у кого идея народности и областности в эти годы не получила такой стройной формулировки и аргументации, как в трудах историков-федералистов, в первую очередь, украинца Н.И.Костомарова и автора земско-областнической теории историка сибиряка А.П.Щапова. В своих работах 60-х годов он указал на все нивелирующую и обесцвечивающую государственность, подчеркнул своеобразие земель российских, без изучения которых невозможно понять России. Он считал крестьянский мир «ядром» русского мира. На одной земле и воде, писал Щапов, в колонизационно-географической и общинно-бытовой связи, сами собой, без всяких указов устроились вольно-народным земским самоуправлением два первичных мира – городской и сельский, город и село. От них отделялись новые поселения, в диком лесу поставлялся починок, поселения объединялись в волости и уезды, образуя волостные и уездные миры.

Этатизму государственников федералисты противопоставляли теорию, раскрывающую центральную роль народа в историческом процессе. У нас доселе господствовала в изложении русской истории идея централизации, развивалось чрезмерное стремление к обобщению, к систематизации разнообразной областной истории, – писал Щапов. По его мнению, нисколько не раскрываются разнообразные историко-этнографические, бытовые и экономические особенности областей, не изображаются моральные, политические и физико-географические условия их внутреннего развития и быта.

Дальнейшее развитие земско-областная теория получила в физико-антропологической концепции Щапова, ориентированной на взаимоотношения человека и природы как главного фактора социальной истории России. Не отрицая влияния государства на исторический процесс через централизацию и опеку, он утверждал, однако, что магистральный путь русской истории проходит не по линии государство – народ, а по линии природа – человек.

В качестве компонента культуры с идеей земель и народности сопрягались специфически русские значения и нормы, многие века формировавшие ее ценностную парадигму. Наиболее яркое выражение идея местности как события земли и человека на рубеже эпох получила в трудах философа и культуролога Н.Ф.Федорова, преемника щাপовской земско-областнической и физико-антропологической теории. Федоровское отечествоведение зародилось внутри научного метода, этики и философии краеведения. И как бы своеобразно ни выглядела федоровская историософия, предметом которой мыслитель полагал не живущих, а ожидающих научного воскрешения умерших, никто лучше него не сформулировал практического смысла научного отечествоведения как восстановления природно-человеческой биографии, как сохранения личного родословия: «Что для ученых история, то для неученых поминование» [13]. Краеведение определило и проведенный Федоровым «тотально личностный принцип» в осмыслении всеобщей истории, предполагающий «равноценность великого и малого» [14], царя и крестьянина, столичных властных центров и малых городов.

Мысли автора «Философии общего дела» пережили революционные смещения, сохранив исключительную популярность на протяжении всей первой четверти XX века, что свидетельствует об устойчивости культурной ценности личной и местной биографии для русского социального сознания. Став во второй половине XIX века частью русской культурной и политической мысли, в предреволюционную эпоху идея значимости местной истории шагнула далеко за пределы кабинетов ученых и чиновников. В качестве составляющей социального сознания идеи народничества легли в основу программы партии эсеров.

Пролетарская революция и Гражданская война положили начало радикальной перестройке всего природно-географического пространства России. Трагедия старинных российских весей, разоренных войной и продразверсткой, городов, в произволе нового хозяйственного планирования утративших свою историческую миссию, усугублялась трагедией их поселенцев, насильственно оторванных от родины детства и рассеянных по чужим землям. В эту эпоху потеряло физический смысл самое понятие «родного», согласно толковому словарю Ушакова, означающее «кровно родственное», «духовно близкое» сердцу. Внешняя катастрофа (платоновский эвфемизм революции) стронула земледельческую страну с оседлых мест, и по дорогам России в историческое кочевье двинулись толпы безземельных и бездомных «сирот революции».

В художественной литературе и публицистике двадцатых годов образ геологической катастрофы часто выступал метаобразом свершившегося. Россия сейчас как после землетрясения, лава еще не застыла, всюду бесформенные груды камней, пепла, хаос, – писал А.Воронский в 1922 году. Но не только глобальное разрушения культуры и общества питало это видение. Подобно землетрясению, революция обнажила первозданные породы культуры социальной и духовной, извлекла на поверхность глубинные шлаки редчайших минералов, как писал в начале двадцатых этнограф В.Богораз-Тан, и во всей отчетливости формулировок – в исторической науке и с

непревзойденной глубиной художественного видения – в литературе представила древнейшие «породы» отечественной духовной культуры, открыла самые ценные ее «строительные материалы». Она вовлекла поколение двадцатых в свой водоворот, направив мысли и чувства в запись: научный, художественный, публицистический текст, дневниковую летопись, личную переписку, тем самым засвидетельствовав эмоциональную потребность общества зафиксировать ускользающие драгоценные культурные смыслы и значения. Среди них в первую очередь были те, что служили задаче социального выживания индивида, так как охраняли неприкосновенность механизмов его самоидентификации – биографию и родословие.

От идеологической борьбы и политических репрессий, не принесших в предыдущее десятилетие удовлетворительных результатов, руководство страны в тридцатые годы перешло к мерам более действенным. Проведенная властью коллективизация сельского хозяйства, как считал А.М.Горький, совершила переворот почти геологический. Из-под ног «двух десятков миллионов» людей ушла земля, создавшая человека крайне уродливо своеобразного и способного ужаснуть своим животным консерватизмом. Вместе с землей была обречена на гибель национальная антропогеография и формировавшее отечественную историю предание. Обретя свободу от «нечеловеческой» власти земли, колхозное крестьянство вместе с ней лишилось преемственной связи с жизнью предшествующих поколений – духовного отечества.

Революционные свершения в России XX века отличаются от всех предшествующих европейских политических переворотов завершенной «духовно-материальной вертикалью». Посягнув на традиционную иерархию российского общества, в своем строении изоморфной патриархальному образу Божественного Домостроительства, разрушив символическую основу важнейших социальных институтов – семьи, собственности и государства, революция вонзилась в самую землю, в питательный и производительный ее слой – почву. Декреты по землеустройству, колхозное строительство, социалистическое планирование с бесконечной чередой районирований, индустриализацией, возведением новых промышленных центров, освоением древних территорий союзных республик; культурная революция со сменой географической номенклатуры, перестройкой старинных городов, разрушением усадеб, дворцов, лавр, скитов, храмовых комплексов или превращением их в военные и культурно-просветительские учреждения, устройство водохранилищ на месте монастырей – все эти свершения были торжеством социалистического земледелия вселенского масштаба. И земля ответила чудовищными неурожаями 1921–1922 и 1931–1933 годов, неотвратимым приближением новых войн и разрушений.

Революционные свершения на земле имели колоссальное духовное воздействие на общественное сознание. Никогда ранее в русской истории география, топография, почвоведение, экология, краеведение как формы научного землеведения не являлись в столь напряженном ореоле общественного сопереживания, никогда еще в отечественной культуре не являлась со столь очевидной, исторически доказательной ясностью вся тщета разделения вещественного и

духовного начал жизни. Можно сказать, что политико-экономические реформы Октябрьской революции совершались на тонкой грани между мирами, – линии, образованной знакомым с детства земным горизонтом.

Трагедия родных местностей завершила формирование в русском обществе веками складывавшейся картины мира, в центре которого – традиция эта была заложена еще русскими летописями – помещался единичный телесно-духовный человек, маркированный «биографически», то есть топографически и хронологически, «человек местный». В художественной литературе в пореволюционные годы родился новый хронотоп – образ, порожденный памятью пережившего жизненные катастрофы зрелого человека: «детская родина». Предложенное Андреем Платоновым в романе 1927 года «Чевенгур», оно в эпоху культурничества и борьбы за новый быт удивительно точно передало смысл того вещественно-духовного пространства, что принято называть «малой родиной». Платоновское именование связывало человеческую память с индивидуальным переживанием природно-архитектурного ландшафта, для постороннего ничем не примечательного.

Родимые места, не имеющие эмоциональной ценности для уроженца других краев, в этом образе-символе являлись в комплексе синтетического детского восприятия: в слуховых, зрительных, осязательных ощущениях родины как матери–материи его «первожизни». У Платонова особое место в эмоциональном переживании вещества детского существования занимают запахи: материнского подола, отцовской рубашки, бабушкиного чулана, сельского храма. Шолохова ослепили буйные цветочные переживания родной казацкой степи; музыкальный слух Заболоцкого сохранил звуки детского мира – бури русского севера, его гремящих ночей, таинственных заговоров-разговоров животных и растений. Анциферову запомнились тактильные свойства природных веществ – камней, усыпавших сады его детства. Добычина, уроженца Двинска (ныне – Даугавпилс), поразила в чужестранном многоголосье его нерусской «колыбели» родительская русская речь. Вагинов, одаренный с детства цепкой эмоциональной памятью, в насыщенном мировой культурой Петербурге создал свой «сказочный» мир.

Образ «детской родины» обладает особой художественной и мировоззренческой силой: как писал М.М.Бахтин, художественные хронотопы вообще обладают свойством связать реальную историю с реальной землей. Вот почему образы городов, деревень, природно-географического ландшафта в эти годы освободились от вторичной роли фона, став в художественном произведении самостоятельным действующим лицом с сюжетобразующей мощью. Новые хронотопические ценности, сгущенные в образе «детской страны» (А. Платонов, «Джан», 1934) литературы 1920–1930-х годов бросили вызов революционным свершениям, явив новое художественно-интуитивное постижение исторического человека и новый, «географический» аспект писательского умозрения «эпохи геологических сдвигов»: не земля принадлежит людям, но люди – родимой земле.

Закономерно, что двадцатые годы стали «золотым веком» отечественного краеведения. Его принципиально новой, в сравнении с краеведческими исследованиями прошлого, общественно значимой задачей стало сохранение и восстановление через исследование «родословия и биографии местностей» истории своего народа. И, в силу этого архивирующего и воскрешающего свойства, краеведческое движение тех лет становится центром притяжения для огромного числа представителей различных слоев российского общества. Дело собирания исторических документов покидает ведомство профессиональных историков и архивистов, выходит за пределы музеев и библиотек, подобно поминальной молитве, становится личным делом. Личное звучание в эти годы приобретает пушкинское свидетельство: «Два чувства дивно близки нам, // В них обретает сердце пищу: // Любовь к родному пепелищу, // Любовь к отеческим гробам»...

Еще одной особенностью краеведения двадцатых годов, тогда самого массового вида науки, были внимание и почет, которое ему оказала наука «большая» – столичные академические учреждения и университеты: краеведение развивалось под защитной эгидой Академии наук, Наркомпроса и направлялось Центральным бюро краеведения. Столичная наука впервые осознала, что свои перспективы она должна найти в знаниях, практическом опыте, документах и свидетельствах науки местной. Академическая наука отрясала с себя безжизненный прах сухого теоретизирования, рвалась к практике, к местному опыту, прошедшему историческую проверку. Познавательные задачи дополнились этическими целями – потребностью послужить людям. В организационной структуре краеведческого движения, его идеологии и практике возвысились ценности традиционного для русской культуры (в первую очередь, литературы и истории) «историко-топографического» чувства, с его отказом от «умышленного» знания ради документальной записи; «локальным чутьем», способным в родном ландшафте распознать исторический документ; особым почитанием образа жизни и веры людей от земли.

Таким образом, у местнографической тематики в русской краеведной науке и хронотопической образности в русской художественной литературе двадцатых годов в большинстве случаев был единый реальный источник: сердечное переживание за родную землю, научное или интуитивное знание ее бед, все возрастающая тревога за будущее отечества и земляков, желание послужить родине.

Общественные духовно-культурные ценности живут и сохраняются в формах самой культуры – литературе, искусстве, науке. Исторические катастрофы не уничтожают их совершенно, но выявляют глубинное содержание и перепроверяют историческую действенность. В настоящей статье будет сделана попытка конкретизировать происхождение и ценностное содержание краеведческой тематики русской литературы двадцатых годов, определившие особенности хронотопической образности, сюжетный и аллюзийный слой, и объяснить совпадение тем, проблем, мотивов литературных произведений с социальной проблематикой, поднимавшейся в научных краеведческих исследованиях.

III. Надежды и чаяния российских краеведов

Центральное бюро краеведения (ЦБК) было образовано после прошедшей в декабре 1921 года в Москве 1-й Конференции научных обществ по изучению местного края, совпав по времени с партийным решением о введении новой экономической политики. В январе 1922 года Российская Академия наук, заслушав резолюцию Конференции, постановила образовать при Академии Наук ЦБК в составе Петроградского и Московского отделений. 13 января открыло свои заседания Петроградское отделение. 16 февраля 1922 года в Москве состоялась 1-я сессия ЦБК, на которой главой президиума Бюро был избран С.Ф.Ольденбург (он же председатель Петроградского отделения). С 10 марта начались заседания Московского отделения. В октябре того же года в Москве прошли 2-я и 3-я сессии ЦБК, и в целях оживления работы Бюро в его состав были введены от Петрограда В.П.Семенов-Тянь-Шанский и И.М.Гревс. В течение 1922 года Петроградское отделение собиралось 42 раза, московское – 27.

Для плановой и широкой постановки работы на местах и в центре, а также для своевременного осведомления местных обществ о положении дел в отечественном краеведении начался выпуск местной и центральной краеведческой печати – периодические журналы «Краеведение» (1923 – 1929) и «Известия Центрального бюро краеведения» (1925 – 1929). Их материалы малоизвестны современным исследователям. Причиной тому произошедший в 1929 – 1931 годах разгром движения и пересмотр всей выпущенной до 1931 года краеведческой литературы на предмет уничтожения всех политически вредных изданий.

Перед нами подборка номеров журнала «Краеведение» первого года издания. Указатель содержания построен по алфавитному и тематическому принципу: кроме статей различной тематики тут программы и инструкции собирательской деятельности; отчеты о краеведческих съездах и местных конференциях; хроники региональной деятельности; обзор зарубежного краеведения – Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Финляндии; библиография по краеведению, картографии, библиотеко- и архивоведению; официальный отдел с положениями о краеведческих обществах, уставами, порядком охраны и учета памятников старины, садов и парков. Тематическая группировка дополнена географическим указателем краеведческих организаций на территории России и библиографией местной краеведческой печати. Охват географического указателя впечатляет. Перечень представляет невероятно огромную, многонациональную, раскинувшуюся на два континента и соединившую несоединимые духовно-культурные начала – Восток и Запад – территорию, управление которой перешло в руки нового хозяина. Потому не вызывает удивления тематика вводной статьи «Приступ к систематической краеведческой работе в России» в первом номере журнала.

Написанная академиком-секретарем Российской академии наук, главой ЦБК востоковедом-этнографом, фольклористом С.Ф.Ольденбургом она призвала положить «в край угла сознательной краеведческой работы» [15] географическую карту. Та же мысль развивалась и в

следующей статье, принадлежащей перу В.П.Семенова-Тян-Шанского, сыну географа-исследователя, вице-председателя Русского географического общества П.П.Семенова (Тян-Шанского) и наследника его научной работы: «Карта представляет ту географическую основу, с которой начинаются и которой венчаются почти все краеведческие предприятия. <...> По карте проектируются новые исследования, сопряженные с посещением изучаемых пространств, по карте исследовательские организации ориентируются на местах, и на карту же, в конце концов, наносятся новые научные результаты предпринятых обследований». Без географической карты немыслима практическая экономическая деятельности государства, поэтому автор статьи указывает на опасность, которую таят ошибки картографа. Один условный знак географической карты площадью в какие-нибудь 3–4 миллиметра, зачастую говорит гораздо больше, нежели 3–4 страницы описательного текста» [16]. И добавляет, что для России, где топографическая съемка явно не может совладать с громадными пространствами, трудно достигаемыми по бездорожью и климатическим условиям, вероятность таких ошибок особенно велика.

Исправить их возможно только с помощью местных жителей. Только они способны увидеть ошибки официальных карт России в транскрипции и в выборе наиболее употребительных для данного географического пункта или элемента народных названий среди их многочисленных синонимов. Исправить их краеведу куда легче, чем кому-либо постороннему. Только местный сможет указать «центральной Москве» на существование различных засек, урочищ местностей, полей, «вроде Юрьева поля». Только они сообщат ей о местных путях сообщения: тропах, проселках, нартовых, выючных и караванных путях, как, например, «лесовозная железная дорога от Муромской ветви Московско-Нижегородской железной дороги на станцию Ликино во Владимирской губернии». А ведь без этих указаний наши карты мертвы, пишет ученый, так как бесполезны, если центральная власть действительно хочет служить интересам населения.

Первые, открывшие журнал «Краеведение» статьи носили программный характер. Новое краеведение отвечало желанию общества ближе узнать душу своей родины, осветившуюся в урагане революции «с новых позиций». События современности, по убеждению краеведов-историков, строились на событиях прошлого, истинный смысл и значение которых проясняются только в свете сегодняшнего дня. К прошлому необходимо вернуться, чтобы постичь настоящее и планировать будущее, что немыслимо без сбора исторических фактов и свидетельств, изучения сохранных местными архивами данных «статистических и экономических обследований, разысканий в области естественных богатств». Краеведение должно донести до верховной власти всю правду-истину о реальном положении дел на местах, неискаженную легенду местности. Иначе социалистическое строительство, основывающееся на ложных или искаженных показаниях географической карты, статистических, этнографических и прочих данных, добру и пользе не послужат. Результат обновления страны целиком во власти того, кто займется ее сегодняшней картографией и краеведением. Ученые-академики, собравшиеся в ЦБК «самого умышленного на земле города», были убеждены, что картографами и краеведами обновленной России должны стать местные жители.

Именно они в консерватизме бытовых форм своей жизни сохранили своеобразие исторического бытия народа и страны. Данные археологии говорили ученым-краеведам, что не язык определяет границы народности, а его бытовой уклад, предметы его обихода, его обычное право, основанное на верованиях и традиции. Памятники быта имеют ряд признаков, которые составляют понятие «культуры», писал в статье «Доисторическая археология, ее задачи и перспективы в областном изучении» П.Ефименко. Эти признаки, которые собраны доисторической археологией в этнографии прошедших эпох, обладают исключительным консерватизмом и устойчивостью, и по сей день они позволяют отличить представителей славянского корня от соседствующих с ними тюрками или финнами.

Народная культура доказала свою историческую действенность в период катастрофы Мировой и Гражданской войн и революций. В очерке «Живая археология» В.А.Щавинский свидетельствовал, что Россия, которая всегда была страной, сохранявшей пережитки седой старины дольше, чем где бы то ни было в культурном мире, в условиях кризиса обнаружила навыки и умения, воспитанные древнейшим бытовым укладом. Так, например, оставленное было совсем в Ярославской губернии домашнее крашение тканей теперь во многих местах этой губернии было восстановлено. В окрестностях Старой Руссы во время соляного голода 1918 – 1921 гг. устроены были кустарные солеварни. В Петроград был привезен каменный топор, приобретенный у крестьянина Саратовской губернии в обмен на железный столовый нож. Топор этот сделан бывшим его владельцем и применялся им для домашних работ. В Весьегонском уезде крестьяне изготавливали для себя из местных речных раковин пуговицы. В Вологодской и Пермской губерниях возникло производство смазочных машинных масел из хвойного лапника и осмола. В Области войска донского возродилось поташное производство, материалом для которого служили подсолнечные стебли. На некоторых рыбных промыслах севера, за недостатком снастей, стали применять корни сосны. Вследствие исчезновения с рынка германских искусственных красителей, а также тропических натуральных – бразильского дерева, кошенили, индиго и других – местные жители вспомнили о традиционном «крутике» – русском индиго, и «червце», позволявшем окрашивать ткани в красные и розовые тона.

Однако этнографические наблюдения, сделанные исследовательскими экспедициями Д.А.Золотарева на Русский север, на которые автор статьи ссылается, кроме чисто научного знания имели очень большое практическое значение. Возвращение к старинным промыслам не было, с его точки зрения, только трагическим регрессом общества. Ученые-краеведы на основе полученных сведений могли выявить самый рациональный путь для налаживания недорогого и качественного отечественного фабричного производства, основанного на старинной, органичной для производительных сил данной местности традиции. По мнению ученого, это был кратчайший путь для перехода от первобытных форм домашней индустрии к более выгодным с народно-хозяйственной точки зрения формам производства.

Новый поворот получила тема этнографии в статье социального историка, профессора Петербургского университета Н.Н.Павлова-Сильванского «Краеведение и обычное право». Ученый привлек внимание краеведных организаций к изучению местных юридических обычаев, к проблеме выявления норм местного обычного права как к явлению исключительно важному не столько для историков, сколько для руководства молодого государства.

Что такое правовой обычай, в чем могла быть его научная и практическая ценность для новой власти? Правовой обычай, напоминал читателям Павлов-Сильванский, это регулирующее взаимоотношение людей право, которое вследствие единообразного и постоянного применения приобретает обязательный характер и принудительно проводится в жизнь. Обычное право есть древнейший источник права. Для науки важно то, что «в правовом обычае непосредственно отражаются взгляды народа на общественные отношения людей, он является результатом умственного и нравственного развития народа в связи со всем укладом его экономического быта». Для практики существенным является то обстоятельство, что став руководящим материалом для законодателя, желающего создать новые законы, они помогут ему составить их в соответствии с культурным развитием, взглядами и требованиями своего народа.

Важно для социальной жизни общества было, по мнению Н.Н.Павлова-Сильванского, чтобы его законодатели желали составить именно те законы, что соответствуют взглядам и требованиям своего народа. По его наблюдению, законы, созданные кабинетным путем, юридическим теоретическим мышлением оказывались мертворожденными, «отвергались молчаливым упорным пассивным сопротивлением не признавшего их народа. И, наоборот, могли на долгие времена оставаться незыблемыми и сохранять свою жизненную силу, несмотря на вносимые в них экономическим и культурным развитием народов изменения» [17]. Из этого наблюдения следовал вывод, что не только историк и этнограф должны интересоваться народными правовыми обычаями, как пережитками старины, отражением духовного облика населения, но и социолог, экономист и юрист-практик не могут проходить равнодушно мимо проявлений народной правовой жизни. Без этих наблюдений над правовой жизнью населения, сплошь да рядом самобытно регулирующего свои социально-правовые взаимоотношения, и социолог, и экономист, и юрист-практик рискуют жестоко ошибиться в своих выводах, наложив на них штамп кабинетности, умозрительности.

Крестьянские местные обычаи, которые запечатлелись в миллионах решений волостных судов, должны, по мнению ученого, стать основанием современного писанного права, так как на практике именно этот материал, необработанный, не имеющий зачастую определенных очертаний, является тем источником права, который заслуживает самого серьезного внимания и изучения. И, однако, – замечает автор, – приходится констатировать факт пренебрежительного отношения к «мужичкому» праву, озлобленного и какого-то подозрительно-боязливого отношения ко всем, делающим попытки подойти к нему и изучить его.

Работа датирована 10 июня 1923 года и имеет сноску. Приведем ее полностью, как имеющую прямое отношение к теме: «Статья эта находилась уже в наборе, когда пишущему эти строки попала на глаза весьма интересная статья Л.Троцкого в ленинградской “Правде” от 11 июля 1923 г. № 153 под заглавием: “Чтобы перестроить быт, надо познать его”.

В статье этой ярко и образно подчеркивается проводимая мною мысль, что для того, чтобы при новом социальном строе перестроить на новых началах весь уклад народной жизни и изменить взгляды народа на семью, религию и взаимоотношения людей, необходимо, прежде всего, изучить и понять миросозерцание народа и его взгляды. “Прежде чем строить, нужно знать, что есть, – пишет Л.Троцкий, – это относится не только к воздействию на быт, но и вообще ко всякой сознательной человеческой деятельности. Нужно знать и в каком направлении существующее изменяется, чтобы получить возможность участвовать в созидании быта (в том числе, надо думать, и новых правовых отношений...) Для того чтобы поднять культуру на более высокую ступень, рабочему классу нужно продумать свой быт, а для этого – познать его”. И далее: “Критическая проверка быта теперь же есть необходимое условие для того, чтобы быт, консервативный по десятилетиям своим традициям, не отстал от тех прогрессивных возможностей, которые открываются уже и сегодняшним нашим хозяйственным ресурсам или откроются – завтрашним”.

Приведенные цитаты, несомненно, подчеркивают правильность высказанной мною мысли, что именно теперь перед исследователями обычного права, давно уже стремившимися проникнуть с научными методами работы в темную и неразгаданную область народных правовых воззрений, должно, наконец, открыться широкое поле деятельности, что теперь к этой научной работе должны подойти не только историки, этнографы, социологи, но главным образом юристы – теоретики и практики. Чтобы перестроить быт народа, а вместе с тем и его право, надо познать быт в целом, а в частности, обычное право» [18].

Примечание Павлова-Сильванского, комментирующее программную статью Л.Д.Троцкого, – важный штрих к пониманию генеральной задачи пореволюционного краеведческого движения. То было стремление донести до сознания новой власти необходимость восстановления утраченного в «петербургский период» русской истории семейного единства великого и малого, государственной власти и народа, столицы и провинции, практических интересов и нравственных ценностей человека от земли и целей государственного строительства. То было желание исполнить многовековую надежду российских земель видеть земляков у власти.

Суждено ли было этим надеждам исполниться?

Продолжение в следующем номере

ПРИМЕЧАНИЯ

- [1] *Платонов А.* Собрание сочинений. Научное издание. Т. 1, кн. 1, – М.: ИМЛИ РАН, 2004. – С. 49.
- [2] *Добычин Л.* Полное собрание сочинений и писем. – СПб.: Звезда, 1999. – С. 56.
- [3] Там же. С. 51.
- [4] *Заболоцкий Н.* «Огонь, мерцающий в сосуде...» Стихотворения и поэмы. – М.: Педагогика-Пресс, 1995. – С. 123.
- [5] *Есенин С.* Полное собрание сочинений : В 7 тт. – Т. 3. – М.: Наука-Голос, 1998. – С.7.
- [6] *Вагинов К.* Полное собрание сочинений в прозе. – СПб.: Академический проект, 1999. – С. 14.
- [7] *Винокур Г.О.* Биография и культура. – М.: ГАХН; 1927. – С. 71.
- [8] *Полонский В.П.* О литературе. Избранные работы. – М.: Советский писатель. 1988. С. 270.
- [9] *Томашевский Б.М.* Литература и биография // Книга и революция. – 1923. - № 4. – С. 7.
- [10] [*Богораз (Тан) В.Г.*] Введение к программе полевой этнографии, составленной на основе студенческих экспедиций Ленинградской этнографической комиссии и курса лекций В.Г. Богораз (Тана). 1924 г. // РГАЛИ. Ф. 611. Оп.4. Ед.хр. 349. Л.11–13.
- [11] *Потоцкий П.П.* Краеведение в России во второй половине 18 века // Краеведение. – 1926. – № 3. – С.343.
- [12] [*Богораз (Тан) В.Г.*] Введение к программе...
- [13] *Федоров Н.Ф.* Собр. соч.: В 4 т. – Т. 1. – М.: Прогресс. 1995. – С. 135.
- [14] *Гачева А.Г.* Комментарии // Федоров Н.Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. – М.: Прогресс. 1995. – С.575.
- [15] *Ольденбург С.Ф.* Приступ к систематической краеведческой работе в России // Краеведение. – 1923/24. – №1. – С.4.
- [16] *Семенов Тян-Шанский В.П.* Что может дать краеведение картографии? // Краеведение. – 1923/24. – №1. – С.5.

[17] Павлов-Сильванский Н.Н. Краеведение и обычное право // Краеведение. – 1923/24. – №1. – С. 103.

[18] Там же. С. 104.

© Московская Д.С., 2013

Статья поступила в редакцию 7 октября 2013 г.

Московская Дарья Сергеевна,

доктор филологических наук,

заведующий отделом рукописей, Институт мировой литературы им. А.М.Горького РАН (Москва),

e-mail: darya-mos@yandex.ru

UDC 82.091

Moskovskaya D.

**ABOUT RUSSIAN LITERATURE AND REGIONAL STUDIES AT THE TIME
OF THE NEW ECONOMIC POLICY**

Abstract. The article discusses the turning point of the post-revolutionary Russian history, when the class struggle enters the area of ideology, when the government seeks to physically destroy the historical memory, embodied in traditional zoning, local place names, architecture. The article traces the themes and issues of coincidence history research of the time and literary scenes and images of Andrei Platonov, S.Yesenin, K.Vaginov, B.Pilnyak etc. The article shows that the content of the local history of the 1920s comments view of the world, values, ideological direction of contemporary writers.

Key words: chronotope, cultural landscape, cultural revolution, traditional culture, history of national and local lore, history of Russia in the XX century.

Moskovskaya Daria Sergeyevna,

Dr. in Philology,

Head of the Department of Manuscripts, A.M.Gorky Institute of World Literature (Moscow)

e-mail: darya-mos@yandex.ru